

ски». Да и норвежцы отнеслись непримиримо к нацистским оккупантам. Впрочем, для идеологов с аристократическими ценностями (вроде Шпенглера и Розенберга) это-то как раз понятно: для них пролетариат, порождённый индустриальным обществом, — не более чем попутчик (если не придаток) буржуазии, характерная черта того нового мира, который их пугает.

VI.6. Мифы аристократии — «народу»?

...имена пращуров в истлевших свитках были слаще их уху, нежели имена сыновей.

Дж. Р. Р. Толкиен. Властелин Колец, IV,5

Однако попытка «научно» обосновать аристократизм сыграла со своими теоретиками очередную злую шутку. Мифы, которыми они пытались пользоваться, в своё время были созданы для другой цели: для обоснования особых прав не данного этноса по отношению к остальному миру, а аристократии по отношению к податным сословиям *своей* страны.

Таков, например, миф о поляках как потомках сарматов, а венграх и литовцах — соответственно скифов и римлян. Анализируя эти мифы, исследователь из Института славистики Польской Академии наук Лешек Хензель замечает:

«Рождение этих мифов связано с созданием концепта нации. Однако при этом не следует забывать, что в то время нация состояла из единственной социальной группы — дворянства. Оно руководило страной и решительно запрещало проникновение членов других социальных групп в свою касту. Занимая всё более и более важную позицию в международных отношениях, новые общества нуждались, в ущерб старым, в конструировании собственной истории, которая через множество знаков и символов возводила бы их к уникальному прошлому, узаконивающему их существование» (Hensel 2003: 47).

Поэтому литовские магнаты — например, Пацы и Сапегы, — возводили свой род к римским корням, но доказать такое же происхождение своих крестьян они и не пытались — зачем?! Но такой же ход не был закрыт и для польских магнатов, охотно роднившихся со знатными семьями не только Литвы, но и романских стран. В итоге, по выражению Евы Кулицкой, «Речь Посполитая делилась на “римских” магнатов, с одной стороны, и “сарматскую” дворянскую массу, с другой» (: 48). О славянах речь вообще не шла, поскольку простонародье (польское, литовское, восточнославянское — безразлично) считалось попросту «домашней скотиной» (таков буквальный перевод слова *bydło*).

Точно так же Павел I отвечал на рассказ о потёмкинских деревнях: «О, я это хорошо знаю! Вот почему мой собачий народ хочет быть управляемым только женщиной!» Комментируя эти слова, Ст. Расседин (1985: 187) указывает, что в устах царя слово «народ» означало только «дворянство». О крестьянах Павел был иного мнения. К. Валишевский приводит письмо императора жене из Нерехты от 3 июня 1798 г. с упоминанием «крестьян, которые, в скобках, бесконечно более любезны, чем... тш! [Chût!] Этого не надо говорить, но надо уметь чувствовать» (цит. по: Эйдельман 1986: 114). Знал он и о своей популярности в низах — именно как первого

мужчины после семидесяти лет почти непрерывного женского правления (Эйдельман 1986: 38), — и о надеждах крестьян и казаков на своего отца Петра III, которого подчёркнуто чтит. По сведениям Л. Л. Бенигсена, Павел даже готовил себе — на случай разрыва с Екатериной — путь к бегству на Урал, в землю, где ещё жили пугачёвские традиции (там же: 39). Как видим, ни казаки, ни крестьяне не входили для Павла в понятие «мой собачий народ».

Та же логика заметна и у Д. Кантемира в 15-й главе II части «*Описания Молдавии*»:

«Но, однако, мы не из тех, кто думает, будто главнейшие знатные роды, которые в настоящее время процветают в Молдавии, и в древности выделялись своей знатностью среди римлян, когда они были в Дакии. Нам прекрасно известны превратности человеческой судьбы. Мы знаем, что Драгош, восстановитель Молдавии, отдал высшие знаки почёта и использовал на гражданской и военной службе не тех, кто мог насчитать больше титулов своих предков, но тех, кои превосходили остальных доблестью и верностью. Мы также знаем и то, что именно они заселили молдавскую землю, опустошённую татарскими нашествиями, новыми колонистами из *крестьян, пригнанных из Польши*, и, основав эти поселения, дали им своё имя или, что более вероятно, приняли название деревни как знак своей знатности» (Кантемир 1973: 139—140; курсив мой — Л. М.).

Иначе говоря, молдавское боярство, по Кантемиру, происходит от римлян — как утверждал ещё Григоре Уреке, — а также, о чём бывший господарь повествует далее, от переселившихся в Молдавию потомков сербских, болгарских, татарских (как и сам Кантемир) и фанариотских знатных родов. Но «*крестьян, пригнанных из Польши*» (с Украины, в то время польской), историк упоминает лишь мимоходом: это не население, а деталь обстановки.

Такое понимание «народа» сводило его к нескольким сотням семейств, с трудом держащих круговую оборону как против внешнего мира, так и против собственных «мужиков». С этой точки зрения понятны страхи: «Россия погибнет», «Германия конец» и т. п. Однако начиная с Французской революции слово «народ» получило новое значение — даже несколько новых значений. Например, социальное — как раз обратное прежнему: *низы* общества — в противоположность верхам. Или этническое — как нация, племя. Или политическое — совокупность граждан данной страны. Психологическое — народ как носители некоего трудноуловимого «народного духа» (*Volksgeist*) или национального самосознания. Или «моральное»: «Народ — это совокупность всех, связанных общей нуждой <...> только такая нужда является источником истинных потребностей; только всеобщая потребность является истинной потребностью», в отличие от «врагов народа», потребности которых иллюзорны и представляют собой излишество и «роскошь» за чужой счёт (Вагнер 1978: 148, 149). Или самый бытовой вариант: народ — те, кто держатся сплочённым коллективом, «не народ» — индивидуалисты, отколовшиеся от этого коллектива («а я что, я — как все, как народ!» — А. И. Райкин). Или даже просто собравшаяся компания («Ну где же ты, народ ждёт!»).⁹⁶ На смешении этих понятий, обозначаемых одним и тем же словом, всегда спекулируют политические демагоги.

⁹⁶ Интересно, что эти понятия чётко различаются в древнегреческом языке: δῆμος — народ как гражданский коллектив; ὄχλος — народ как «чернь» (низшие слои); λαός — народ как огромное скопище (а в эллинистических государствах λαοί — «покорные варвары» в отличие от греков), ἔθνος — народ как племя, и так далее.

Однако какой из этих «народов» мог бы пользоваться старым *дворянским* мифом? Ведь этот миф создавался не для *сплочения* народа — в любом из перечисленных смыслов, — а, напротив, для его *разобщения* и оправдания особых прав только одной из его частей. Вправе ли, допустим, румынский националист повторять вслед за Григоре Уреке: «Мы от Рима ведём род» (*Noi de la Rim tragem*), — пока не докажет, что среди его предков был хоть один боярин? А если даже и так — может ли он обращаться с подобным призывом к жителям страны, где давно уже исчезла собственная аристократия, «от Рима тянущаяся»? Но то же относится к нынешним «потомкам» викингов, сарматов, Авраама или древних русичей. Все современные народы имеют смешанное происхождение, и это закономерно. Противиться этому — всё равно что пытаться закупорить реку в бутылке, лежащей в твоём кармане.

Аристократическое мировоззрение, пытаясь удержать свои позиции в новом мире, вынужденно идёт на жертву — принимает под свою сень как раз тех, от кого оно как раз и должно было создавать дистанцию: низы собственной нации. При этом лишь вначале такие идеи выдвигают аристократы, но их обычно подводит негибкость личной позиции, исключая плодотворное сотрудничество. Затем их неизбежно сменяют парии, отбросы общества, претендующие на роль новой знати, не умеющие рассуждать, зато способные действовать — хоть плохо, хоть сумбурно, но всё же хоть как-то. Дескать, пусть мы никто, зато именно в нас есть некая внутренняя сущность, некое совершенно особое духовное содержание, благодаря которой мы когда-нибудь сделаем что-нибудь великое! Правда, это содержание, «которое, согласно предположению, не проявляется ни в чём вовне, может при случае совершенно улетучиться, а между тем снаружи отсутствие его совершенно не было бы заметно, как незаметно было раньше его присутствие» (*О пользе и вреде истории для жизни*, 4 — Ницше 1998: 185). Но аристократическое мировоззрение возможно только для людей с рыцарским этосом, а откуда ему взяться у «человека толпы»? Поэтому «нового средневековья» из такого человеческого материала не выйдет. Предел возможностей в этом смысле — краткий (10—20 лет) период безумной и кровавой оргии, а потом — тяжкое похмелье и отрезвление. Если, конечно, безумствующая толпа не успеет добраться до ядерного оружия или чего-нибудь ещё похуже.

Соединить аристократические ценности с реальностью XX века нацизм пытался тем, что роль будущей аристократии отводилась всему «избранному» народу:

«Расовая теория нацистов справедливо расценивается как идейная подготовка и обоснование ненависти и массовых убийств. Но для миллионов немцев она была привлекательна другой своей стороной — обещанием равенства внутри нации <...>. Война ускорила демонтаж социальных перегородок. Большие потери командного состава заставили с октября 1942 г. открыть путь к офицерским должностям людям без законченного школьного образования <...>. Согласно нюрнбергским законам 1935 г. новые браки между “арийцами” и евреями были запрещены, зато впервые в истории Германии офицер мог жениться на дочери рабочего, если не существовало, конечно, биологических противопоказаний. Итак, резюмирует Али, посредством грабительской расовой войны неслыханных масштабов нацизм обеспечил немцам невиданную ранее степень благосостояния, социального равенства и вертикальной социальной мобильности» (Мадиевский 2006).

Это и делало привлекательным обращение к идеологии времён ранней государственности — «варварских королевств», где племя-победитель (например, остготы или лангобарды) считалось знатью *в целом*, противостоя покорённым наро-

дам — также в целом. Ещё в XVII в. (о чём упоминает А.-Р. Лесаж в «*Жиль Бласе*») жители Астурии настаивали, что все они — сплошь дворяне, поскольку происходят от вестготов, удержавших после 718 г. только эту часть Испании.

Однако в XX в. покрыть расходы по такой политике можно было только грабежом, поскольку для «экономического чуда» у нацистов не было ни средств, ни специалистов. Уже к 1937 г. Германия оказалась на грани банкротства, выход из этого положения давало только разграбление «еврейской собственности», а потом — захваченных стран. В результате вся государственная машина оказалась инструментом колоссального грабежа ради подкупа своего населения, причём инструментом, лишённым долгосрочной перспективы. Перерождение это было нетрудным, поскольку ещё Августин Блаженный определил государство как «великую разбойничью организацию», и это определение до сих пор не опровергнуто, его разделяли такие разные мыслители, как К. Маркс (чего стоит один лишь тезис, что при коммунизме государства не будет, или фраза о трёх ведомствах по ограблению своего и других народов — *Капитал* II.5.4.1!), П. А. Кропоткин и М. Твен. Марионеточные власти оккупированных стран тоже получали долю выгоды — правда, как выяснилось позже, иллюзорную и временную. А политика террора вытекала из соображения, известного любой банде грабителей: убрать жертву, чтобы она не могла поднять шум. «Холокост, — заключает Али — остаётся непонятым, если не анализируется как самое последовательное массовое убийство с целью грабежа в современной истории <...>. Тот, кто не желает говорить о выгодах миллионов простых немцев, пусть молчит о национал-социализме и Холокосте» (Мадиевский 2006).

Поэтому идеология «аристократической нации» либо ведёт к бесконечной войне (внешней или гражданской), либо оказывается беспредметной — не подкреплённой никакими реальными благами, а потому обречённой на скорый крах. Уже это (если не моральные соображения) должно свести на нет её внешнюю романтическую привлекательность.

VI.7. Нemoшь Мифа

Диковинно могущество наших врагов, и диковинна их нemoшь!

Дж. Р. Р. Толкиен. Властелин Колец, III, 11

VI.7.1. Миф как слепок массового сознания

Итак, теперь мы можем подытожить. Мы рассмотрели 8 авторов, из которых шесть соответствуют выделенным нами критериям мифотворцев — претендентов на создание идеологического «Мифа» на историческом материале. Эталонным образцом для нас был А. Розенберг, открыто (самим заголовком своей книги) декларировавший именно такое намерение, более того — этот миф получил практическое применение и привёл к логическому концу в мае 1945 года. Однако исследование показало, что из всех рассмотренных нами исторических мифов лишь концепция Л. Н. Гумилёва не только практически совпала с эталонным, но даже превзошла его — в основном по числу методов, с помощью которых история превращается в миф. Поэтому здесь мы будем говорить только об этих двух авторах.